

БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ

— Кармен не протянет, пожалуй, и пары дней. — Мэсон выплюнул ледышку и с сожалением посмотрел на собаку. Потом снова взял ее лапу в рот, продолжая обкусывать намерзший между пальцами лед.

— Никогда, знаешь, я не видел, чтобы собака с благородным именем была на что-нибудь годна!.. — сказал он, кончая работу и отбрасывая животное в сторону. — Они все какие-то чахлые идохнут от излишней ответственности. Разве заболевают собаки с простенькими именами вроде Кассиар, Сиваш или Хески? Вот, посмотри на Шукума, — он...

Тррах! Скелетообразный зверь сделал страшный прыжок, и его белые зубы промелькнули у самой глотки Мэсона.

— А-а, чтоб тебя... — Затрещина по уху, удар кнута — и животное уже лежало в снегу, слабо взвизгивая, а желтая пена бежала у него изо рта.

— Так вот, я говорю: Шукум — сам-то он как будто еле волочит ноги, а увидишь, он съест эту Кармен. Не пройдет и недели, как съест.

— А у меня предложение как раз обратное, — отвечал Мельмут Кид, поворачивая замерзший хлеб, поставленный к огню. — Давайте-ка съедим лучше Шукума, пока он еще чего-нибудь не предпринял. Что ты скажешь на это, Руфь?

Индианка поставила чай на обломок льда и перевела глаза с Мельмута Кида на мужа и потом на собак. Она не сказала ничего. Все это было настолько банально, что и говорить не стоило. Впереди двести миль непрерывного пути

с жалким шестидневным запасом для них самих, а для собак — ничего. А другого выхода нет. Двое мужчин и женщина сгрудились у огня и принялись за еду. Собаки лежали в упряжи — это была дневная передышка — и с жадностью следили за каждым проглатываемым куском.

— Сегодня последний завтрак, больше не будет, — заметил Мельмут Кид. — И я вам скажу, держите ухо востро с собаками, они становятся подозрительными. Что им стоит, в самом деле, при удобном случае перервать кому-нибудь глотку?

— А я был когда-то председателем в Эйварее и преподавал в воскресной школе!.. — Выпалив это, Мэсон погрузился в задумчивое созерцание своих дымящихся мокасинов и очнулся только тогда, когда Руфь поставила перед ним кружку чая. — Вот хорошо, что у нас еще есть кирпичный чай! А я ведь видел, как он растет, — там, в Теннесси. Что бы я дал сейчас за горячий кусок пирога! Не беда, Руфь: больше ты голодать не будешь. И мокасинов носить тоже не будешь.

Женщина вся засветилась при этих словах, и в глазах ее заструилась и поплыла большая любовь к белому господину — первому белому человеку, какого она знала, и первому человеку вообще, который относился к ней — женщине — несколько лучше, чем к вьючному животному.

— Да, Руфь, — продолжал ее муж, переходя на тот невообразимый жаргон, на котором они только и могли объясняться между собою. — Погоди только, пока мы это все обделаем! Мы отправимся тогда По Ту Сторону. Мы возьмем лодку Белого Человека и поедем на Большую Соленую Воду. Да, скверная вода, тяжелая вода — целые горы — вверх и вниз, вверх и вниз, все время. И такая большущая, и такая длинная... Очень далеко. Ты десять раз ляжешь спать, и двадцать раз ляжешь спать, и сорок раз ляжешь

спать (для наглядности он подсчитывал по пальцам). И все время вода, скверная вода. А потом мы приезжаем в большую деревню. Народу тьма — вот как москитов в прошлое лето. А вигвамы... о, какие высокие вигвамы — десять елок, двадцать елок... Ха-йу?

Он беспомощно остановился, бросив умоляющий взгляд на Мельмут Кида. Потом на языке знаков добросовестно подытожил двадцать елок — точка в точку. Мельмут Кид улыбался несколько насмешливо, а у Руфи глаза стали совсем широкие от изумления и удовольствия. Ей показалось даже, что он шутит, и такая снисходительность особенно радовала ее бедное женское сердце.

— А потом ты влезаешь, ну, в коробку и — поехала! — Для иллюстрации он подбросил кверху свою пустую кружку и, ловко поймав ее, продолжал: — Пфф! Приехала вниз! О великие ученые люди! Ты едешь в Форт-Юкон, я еду в Северный Город — двадцать пять ночей и длинный шнурок между ними, все время шнурок. Я беру шнурок и говорю: «Алло, Руфь! Как вы там поживаете?», а ты мне: «Это мой милый муж?» А я отвечаю: «Да». А ты говоришь: «Не могу испечь хлеба, соды нет». А я тебе: «Посмотри-ка в шкафчике, под мукой». А потом — «до свиданья». Ты смотришь в шкафчик и находишь массу соды. И все время ты — в Форте-Юконе, я — в Северном Городе!

Руфь была настолько бесхитростно восхищена этой волшебной историей, что оба мужчины расхохотались. Собачий рев сразу оборвал все чудеса По Ту Сторону, и пока удалось разнять визжащих и рычащих псов, женщина снарядила сани и все было готово к отъезду.

— Пшли! Черти! Хи-и! Пшли же! — Масон заработал кнутом, и когда собаки налегли, он сам сдвинул упряжку, подпирая ее шестом. Руфь последовала со второй упряжкой,

оставляя с последней Мельмут Кида, который помог ей сдвинуться. Сильный и грубый, способный свалить быка ударом кулака, Мельмут Кид не мог привыкнуть бить измученных собак и всячески старался ободрять их, что погонщики делают весьма редко. Он даже чуть не плакал...

— Ну-ну! Пойдем, пойдем, бедные вы, колченогие бестии! — бормотал он после нескольких неудачных попыток самому сдвинуть сани. И в конце концов терпение его было вознаграждено, и с кряхтением и оханьем они поторопились догонять товарищей.

Разговоров больше не было: напряженная работа не допускала такой роскоши. Ибо из всех смертельно тяжелых работ северные переезды — самая тяжелая. Счастлив тот, кто может проделать свой дневной путь по наезженной дороге, хотя бы и ценой молчания!

Ибо из всех изнуряющих работ самая тяжелая — пробивать след по снегу. На каждом шагу тяжелые плетеные лыжи проваливаются так, что снег приходится на уровне козел. Теперь вверх, совершенно перпендикулярно вверх, так как уклонение на один дюйм в сторону грозит настоящей катастрофой: лыжа должна быть поднята до самой поверхности и ни за что не зацепиться. Теперь вперед, то есть вниз, — и другая нога осторожно поднимается перпендикулярно на расстоянии полуярда. Всякий, кто первый раз пробует такой способ передвижения, — если ему даже посчастливится спасти лыжи и не растянуться самому при неверном шаге, — через какую-нибудь сотню ярдов совершенно выбьется из сил. И всякий, кто вынесет целый дневной переезд наравне с собаками, залезает на ночь в свой меховой мешок столь довольный собой и гордый, что и словами не рассказать. А тот, кто может сделать переезд в двадцать ночевков, несомненно, достоин зависти богов.

Послеобеденное время тоже прошло с тою серьезностью и почти жутью в душе, какая рождается в Белом Безмолвии, — безмолвные путники тянули свою лямку. У природы много различных способов убедить человека в его смертности и ничтожестве — безостановочное движение моря, бешеная сила бури, толчки землетрясений, долгие перекаты небесной артиллерии, но самым поразительным, поражающим до отупения, является воздействие Белого Безмолвия. Всякое движение останавливается, небо безоблачно и точно вылило из свинца; малейший шепот кажется святотатством, и человек становится робким и пугается звука собственного голоса. Он — единственный знак жизни среди призрачной пустыни этого мертвого мира, и он пугается своей дерзости и чувствует себя несчастным червяком, ничем больше.

Так тянулся день. В одном месте река делала крутую петлю, и Мэсон захотел скосить путь через перешеек. Но собаки не могли взять высокий берег. Один раз, другой — и хотя Руфь и Мельмут Кид подпирали сани, собаки не брали. Тогда налегли из последних сил. Несчастные животные, ослабевшие от голода, старались как могли. Еще, еще — и сани вскарабкались по крутому подъему. Но передняя собака забрала слишком вправо и запутала в веревки мэсоновские лыжи. Результат оказался самый плачевный: Мэсон был сбит с ног, одна из собак упала, и сани поползли вниз, таща все за собою.

Тррр! Бешено заходил длинный кнут по спинам собак, обрушиваясь на упавшую.

— Нельзя, Мэсон! — вмешался Мельмут Кид. — Несчастные бестии и так едва волочат ноги. Подожди, я припрягу своих.

Услышав последние слова, Мэсон удержал на мгновение кнут, но потом пустил еще раз его змеиные кольца по телу

неудачницы. Кармен — это была Кармен — жалобно взвыла, зарылась на мгновение в снег, а потом упала на бок, вытянув ноги.

Это был трагический момент: околевающая собака и неминуемая ссора между двумя товарищами. Руфь переводила умоляющий взгляд с одного на другого. Но Мельмут Кид сдержал себя, хотя глаза его явно выражали неодобрение, и, нагнувшись над собакой, перерезал веревки. Ни слова не было сказано. Пришлось впрягать двойную упряжку в каждые из саней, и препятствие осталось позади. Сани тронулись, околевающая собака тащилась позади всех. Пока животное может передвигать ноги, его не пристреливают. Это последняя милость — тащиться вместе со своими, сколько хватит сил, в надежде на кусок мяса, если только людям посчастливится убить оленя.

Уже раскаиваясь в своем поступке, но слишком упрямый, чтобы признаться в этом, Мэсон шел впереди каравана, совершенно не подозревая, что новая опасность висела над его головой. Шагах в пятидесяти от их дороги возвышалась могучая ель. Целые столетия она стояла здесь и целые столетия судьба уготовливала ей этот конец. Быть может, готовила она его также и для Мэсона.

Он остановился, чтобы подтянуть развязавшийся ремень сапога. Сани стали, и собаки, едва дыша, легли в снег. Тишина стояла жуткая. Ни малейшее дыхание не шевелило убранного инеем леса. Холод и молчание иной жизни, иных пространств убили душу и сомкнули уста испуганной природы. В воздухе задрожал вздох — они даже не услышали его, а скорее ощутили, как предчувствие движения в застывшей пустоте. И гигантское дерево, сломленное тяжестью снега и своих бесконечных лет, в последний раз сыграло свою роль в трагедии жизни. Человек услышал